

Александр Блок

Стихия и культура



Александр Александрович Блок

Стихия и культура

«На доклад мой, озаглавленный «Народ и интеллигенция», было сделано очень много возражений, устных и печатных. То, о чем я буду говорить сегодня, представляет развитие все той же темы.

Защищать себя от упреков я не хочу, но защищать свою тему буду. Если у самого меня действительно не хватило голоса (как сказал Д. С. Мережковский), то тема моя, я в этом уверен, рано или поздно, погасит все докучные партийные и личные споры...»

Содержание

Александр Блок Стихия и культура	0004
#2	0023
#3	0024

Александр Блок

Стихия и культура

На доклад мой, озаглавленный «Народ и Интеллигенция», было сделано очень много возражений, устных и печатных. То, о чем я буду говорить сегодня, представляет развитие все той же темы.

Защищать себя от упреков я не хочу, но защищать свою тему буду. Если у самого меня действительно не хватило голоса (как сказал Д. С. Мережковский), то тема моя, я в этом уверен, рано или поздно, погасит все докучные партийные и личные споры.

Мои вопросы поставлены не мною, – их поставила история России. На один из поставленных вопросов – о «недоступной черте», существующей между интеллигенцией и народом, ответил утвердительно не я, – ответила история России. Думаю, что споры о том, совершился или не совершился крупный и очевидный факт, свидетелями которого были не только мы, но и предки наши, – надо отнести к спорам, возникающим по недоразумению,

по недоверию, по непониманию; или – к спорам тактического свойства, выдерживающим критику в стенах «третьих» Дум, но не на вольном воздухе жизни.

Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реальнейших фактов, часть которых – дело свершившееся, другая часть – дело, имеющее свершиться. Совершенно понятно, что люди стремятся всячески заглушить это чувство, стремятся как бы отбить свою память, о чем-то не думать, полагать, что все идет своим путем, игнорировать факты, так или иначе напоминающие о том, что уже было и что еще будет. Другие, напротив, видят сны от «множества забот», как говорит Экклезиаст; они суетливы во всех делах своих, потому что мучатся воспоминанием и не могут припомнить; в каждом деле своем они чувствуют, что за ними стоит что-то, что одно только может разрешить сомнения и муки; а без такого разрешения – никакое дело не в дело.

Словом, как будто, современные люди нашли около себя бомбу; всякий ведет себя так,

как велит ему его темперамент; одни вскрывают обойму, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе – большой апельсин, а все совершающееся – только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости.

Однако никто не шутил, никто не хотел ни напугать, ни позабавить. История, та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу. И бомбу не простую, а усовершенствованную, вроде той сверлящей и образующей аккуратные трещины пульки, которую англичане придумали для усмирения индусов. Эта пулька уже приведена в действие; пока мы рассуждали о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе, – оказалось, что высверлены акку-

ратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля.

И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем, – во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но, чуть только попытаешься перевести его на конкретное, – немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности. Можно было быть заранее уверенным, что, как только заговоришь о разрыве между народом и интеллигенцией, найдутся люди, отрицающие даже возможность разрыва или просто переводящие разговор на домашние дела. Если заговоришь о том, что неблагополучно ни в одной семье, сейчас же найдется семьянин, который скажет, что он живет двадцать пять лет в мире и согласии с женой и детьми. Если скажешь, что наука бессильна перед провалом южной Италии, сейчас же поднимется геолог и заявит, что в Калабрии не отвердела земная кора и что наука если еще и не совсем победила природу,

то через три тысячи лет победит.

Когда я оговорился, что есть, может быть, часть интеллигенции, не оторванная от народа, некоторые мои оппоненты обрадовались чрезвычайно. Г. Чулков заявил печатно, что вся моя тема, в сущности, совсем не об интеллигенции, а о декадентах, и что вся масса уездных врачей, фельдшеров и проч. живет с народом душа в душу; но стоило ли «огород городить», если дело идет всего только о том, что декаденты отделены от народа? И будто уж так благополучно живет уездным врачам среди русских мужиков? Откуда такой оптимизм? Неужели так существенна моя оговорка? Ведь исключения подтверждают правило; а счастливыми исключениями, людьми, способными идти навстречу народу, являются как раз передовые люди, вдохновляемые своим трудом, стоящие на честном посту, охраняющие от врага своих невидимых, спящих друзей.

Но бывает и бывало уже так, что всю ночь напролет стоит стража на башнях, охраняя сон своих. Наступает утро, и уже одни только передовые посты оказываются налицо. Они

стояли высоко и думали высокую думу, но тех, во имя кого они не спали всю ночь, нет уже на лице земли: их похитила стихия – подземная, или народная ночь. Астрономы наблюдали звезды из горных обсерваторий, человеческие умы работали неустанно, и ни одна машина не ошиблась в ту ночь, когда побережья южной Италии стерлись с лица земли.

Если бы тема моя была философской темой или касалась политической злобы дня, я не имел бы права говорить таким языком. Но тема моя – не философская и не политическая. Если я не исчерпываю всех вопросов, прилегающих к ней, то она сама намечает их, как знают это те, кто действительно услышал меня. Для того, чтобы отвечать на недоумения противников, я считаю себя вправе не прибегать к определению понятий, но считаю своим долгом развивать и углублять все ту же тему *на своем языке*. Я должен восходить к истокам той реки, к бурному устью которой я пришел со стороны.

Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией, более всего поразил

меня удивительный оптимизм большинства возражений: до того удивительный, что приходит в голову, не скрывается ли за ним самый отчаянный пессимизм? Говорил я о смерти, мне отвечали, что болезнь излечима. Вспоминались слова умирающего Ивана Ильича у Толстого: «Дело не в блуждающей почке, а в жизни и смерти». Я говорил о расколе, мне говорили, что нет раскола, да и нечему раскалываться. Я говорил о том, что мы любим и ненавидим вместе далекую от нас Россию, набегавшую гоголевскую тройку; мне отвечали: «Мы сами – Россия».

Страшно слышать: «Болезнь излечима, болезни нет, мы сами – все можем». Когда ступишь ногой на муравейник, муравьи начинают немедленно восстанавливать разрушенное; через несколько часов им кажется, что никто не разрушал их благополучия. Они – в своей вечной работе, в своем чувстве всепоправимости, в ощущении вечного прогресса, – как во сне. В таком же сне – бабочка, танцующая у пламени свечи. В том же предсмертном сне можно завести веселый хоровод вокруг кратера вулкана. Работают, поют,

ведут мировые хороводы – во сне, в самозабвении, во хмелю.

Такой же великий сон и разымчивый хмель – сон и хмель бесконечной культуры. Говоря термином Ницше – «аполлинический сон». Всякий сон характеризуется тем, что все происходит в нем по каким-то чуть-чуть измененным, нездешним, неземным, нелюдским законам. Например, по муравьиным законам. Солнце восходит, и солнце заходит, идет гроза, уходит гроза, – а муравейник растет. Можно увидеть себя во сне муравьем; строю, строю муравейник, лезу за хвоей на тонкую елку, ветер покачнул елку, – я падаю на землю, но немедленно начинаю взбираться опять. И так без конца, без конца. И наконец – проснуться и обрадоваться, что ты не муравей, а человек, что у тебя есть свободная воля.

Цвет интеллигенции, цвет культуры пребывает в вечном аполлиническом сне, или – в муравьином сне. Это – бесконечное и упорное строительство с пеной у рта, с падениями. Один сорвался – лезет другой, другой сорвался – лезет третий. И муравейник растет. Заво-

евана земля и недра земли, море и дно морское, завоеван воздух, который завтра весь будет исчерчен аэропланами.

И вдруг нога лесного зверя, который десять лет ходил на водопой мимо муравейника, ступает в самую середину его. Вдруг, в минуту истории, когда Толстой пишет «Войну и мир», Менделеев открывает периодическую систему элементов, когда в недрах земли поет руда, покорная человеческой кирке, когда железнодорожные поезда пожирают пространство во всех направлениях, когда император германский надменно обнимает «чудотворного строителя», благодетеля человечества, завоевателя воздуха, – в этот самый момент отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа.

Еще неизвестно, где произошло событие, какое событие. Через день телеграф приносит известие, что уже не существуют Калабрия и Мессина – двадцать три города, сотни деревень и сотни тысяч людей. Нахлынувший океан и проливной дождь затопили все, чего не поглотила земля и не выжег огонь. Мы знаем, что значат благоуханные имена Калаб-

рии и Сицилии, но только молчим и бледнеем, зная, что если исчезли на земле древние Харибда и Скилла, то впереди, в сердце нашем и в сердце нашей земли – нас ждет еще более страшная Харибда и Скилла. Что можем мы, пребывающие в аполлиническом, в муравьином сне? Мы можем только облекаться в траур, праздновать свою печаль перед лицом катастрофы; броненосец приспускает флаг до половины флагштока, – как бы в знак того, что флаг спущен в самом сердце нашем.

Перед лицом разбушевавшейся стихии приспущен надменный флаг культуры.

Да, перед событиями в Сицилии и Калабриии мы только и можем, что торжественно приспустить флаг. Ведь отклонилась только стрелка сейсмографа. Ученые сказали только, что югу Италии и впредь угрожают землетрясения; что там еще не отвердела земная кора. А уверены ли мы в том, что довольно «отвердела кора» над другой, такой же страшной, не подземной, а земной стихией – стихией народной?

Мы делаем все, что можем. Король воротился с охоты, папа отменил аудиенцию. Все

аккредитованные при итальянском дворе послы выразили соболезнование, военные суда спустили флаги. Судно, отправленное на розыски города, не нашло места, где он был. Русские матросы – «*porolo d'eroi*» [1] – являют чудеса самоотвержения, копаясь в миазмах заразы, в которые в сорок секунд превратились человеческое мясо и морской ил. Ползут поезда, нагруженные мертвецами, архиепископ носит мощи св. Агаты, смирительницы подземных сил. Телеграф стучит по всей Европе; а у нас не хватает извести, чтобы засыпать бывшую Мессину. Вульгарные слова газетных телеграмм приобретают силу древних итальянских хроник; а из Этны вырываются столбы желтого дыма. Сицилия продолжает содрогаться, и нам не усмирить ее дрожь.

Неужели *этим* фактам нужно противопоставлять оптимизм? И неужели нужно быть пессимистом или человеком суеверным, чтобы указывать на то, что флаг культуры может быть всегда приспущен, если приближается гроза?

Не раз уже сотрясала землю подземная лихорадка, и не раз уже мы праздновали свою

немошь перед мором, грусом, гладом и мятежом. Какая же страшная *мстительность* должна была за столетия накопиться в нас? Человеческая культура становится все более железной, все более машинной; все более походит она на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет искусство – крылатая мечта – таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землей.

Всякий деятель культуры – демон, проклиная землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонника прогресса дышит черною мезтью на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно черствой корой; мезтью за все ее трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую, тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты – с пеной у рта строят машины, двигают вперед науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул

стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя, – они видят ту же землю, – проклятую, до времени спокойную, – и смотрят на нее как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.

Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее, – «стихийные люди». Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна легким, предупреждающим подземным толчкам. Они знают, что «всему свое время и время всякой вещи под небом; время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить» (*Экклезиаст*).

Какой-то земной промысел им нужней и родней промышленности и культуры.

Они тоже пребывают во сне. Но их сон непохож на наши сны, так же, как поля России непохожи на блистательную суетню Невского проспекта. Мы видим во сне и мечтаем

наяву, как улетим от земли на машине, как с помощью радия исследуем недра земного и своего тела, как достигнем северного полюса и последним синтетическим усилием ума подчиним вселенную единому верховному закону.

Они видят сны и создают легенды, не отделиющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, – это «Она мчится по ржи»,⁵ о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, – обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот – «отдушина океана». Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик – живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется, – все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля.

Я хочу привести два письма, большой, по

моему мнению, ценности. Одно – письмо крестьянина, рисующее настроение одной из северных губерний; другое – письмо сектанта, адресованное Д. С. Мережковскому.

«Только два-три искренних, освященных кровью слова революционеров, – пишет крестьянин, – неведомыми, неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: „земля Божья“, „вся земля есть достояние всего народа“, – великое, неисповедимое слово... „все будет, да не скоро“, – скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое „все“ – с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет „греха“, что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда.

Наша губерния, как я сказал, находится в особых условиях. Земли у нас много, лесов – тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны...

Наружно вид нашей губернии крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по ча-

сам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко храмы, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова... Вообще мы живем, как под тучей – вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы земли...»

А вот отрывки из письма сектанта:

«Как известно, нас называют рационалистами. Находятся такие курьезные историки, которые ведут нашу родословную чуть ли не от самого Лютера... Не верю я им...

Русский народ недаром слывет самым одухотворенным...

Если внимательно всмотреться в наше сектантство (автор письма говорит обо всех сектантах, даже о духоборах), то придется развести руками и согласиться, что мы никогда не были рационалистами, а были и суть – *мистики* самой чистой воды.

Мистики мы особого рода: на русский лад. Мы действительно люди земли, ибо веруем, что Тысячелетнее Царствие наше будет не за гробом, не на небе, а на земле...

Все наши вздыхания можно смело свести на краткую молитву: „Да приидет Царствие

Твое, как на небе, так и на земле“.

Немногие подозревают эту нашу грядущую Валгаллу – Сион.

Скажу вам еще, что не раз в наших деревнях подымались ложные тревоги. Народ бросал все и бежал в Сион. Бросали посевы, дом, родных и забирали только скот с собой...

Наши сектанты мне представляются тоже революционерами, но только их программа писалась под диктовку Неведомой Силы».

Несмотря на реакцию, на отсутствие религиозного подъема в современном сектантстве, – «вся наша масса представляет теперь застывший поток лавы – нужно пробить верхний, зачерепевший слой, чтобы вырвалась наружу сжатая огненная сила...»

Так вот: с одной стороны – народ православный, убаюканный казенкой, с водкой в церковных подвалах, с пьяными попами. С другой – этот «зачерепевший слой лавы» над жерлом вулкана.

Эти – «пеньем сладкозвучным сердца погибших привлекают». Они поют:

*Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая.*

*От начала ты гонима,
Кровью политая.
Те поют другие песни:
У нас ножики литые.
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят.
Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...
Ах ты, книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко...*

В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про «литые ножики», и те, кто поет про «святую любовь», — не продадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, «земля Божья», «земля — достояние всего народа».

Распалась месть Культуры, которая вздыбилась «стальной щетиною» штыков и машин. Это — только знак того, что распалась и другая месть — месть стихийная и зем-

ная. Между двух костров распалившейся Мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под «очерепевшей лавы»? Такой ли, как тот, который опустошил Качабрию, или это – очистительный огонь?

Так или иначе – мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности – каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землей; а под нами – громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы.

Примечания

1

Народ героев (*ит.*)